

# ЗОФЬЯ

(Поэма)

## Глава первая

В сочельник я был зван на пироги.  
За окнами описывал круги  
сырой ежевечерний снегопад,  
рекламы загорались невпопад,  
я к форточке прижался головой:  
за окнами маячил постовой.

Трамваи дребезжали в темноту,  
вагоны гроыхали на мосту,  
постукивали льдины о быки,  
шуршанье доносилось от реки,  
на перекрестке пьяница возник,  
еще плотней я к форточке приник.

Дул ветер, развевался снегопад,  
маячили в сугробе шесть лопат.  
Блестела незамерзшая вода,  
прекрасно индевели провода.  
Поскрипывал бревенчатый настил.  
На перекрестке пьяница застыл.

Все тени за окном учетверя,  
качалось отражение фонаря  
у пьяницы как раз над головой.  
От будки отделился постовой  
и двинулся вдоль стенки до угла,  
а тень в другую сторону пошла.

Трамваи дребезжали в темноту,  
подрагивали бревна на мосту,  
шуршанье доносилось от реки,  
мелькали в полутьме грузовики,  
такси несло вдали во весь опор,  
мерцал на перекрестке светофор.

Дул ветер, возникавшая метель  
подхватывала синюю шинель.

На перекрестке пьяница икал.  
Фонарь качался, тень его искал.  
Но тень его запряталась в бельё.  
Возможно, вовсе не было ее.

Тот крался осторожно у стены,  
ничто не нарушало тишины,  
а тень его спешила от него,  
он крался и боялся одного,  
чтоб пьяница не бросился бегом.  
Он думал в это время о другом.

Дул ветер, и раскачивался куст,  
был снегопад медлителен и густ.  
Под снежною завесой сплошной  
стоял он, окруженный белизной.  
Шел снегопад, и след его исчез,  
как будто он явился из небес.

Нельзя было их встречу отворотить,  
нельзя было его предупредить,  
их трое оказалось. Трегий — страх.  
Над фонарем раскачивался мрак,  
мне чудилось, что близится пурга.  
Меж ними оставалось три шага.

Внезапно громко ветер протрубил,  
меж ними промелькнул автомобиль,  
метнулось белоснежное крыло.  
Внезапно мне глаза заволокло,  
на перекрестке кто-то крикнул «нет»,  
на миг погас и снова вспыхнул свет.

Был перекресток снова тих и пуст,  
маячил в полумраке черный куст.  
Часы внизу показывали час.  
Маячил вдалеке безглавый Спас.  
Чернела незамерзшая вода.  
Вокруг не видно было ни следа.

Я думаю порой о том, что ночь,  
не в силах снегопада превозмочь  
и даже ни на четверть, ни на треть,

не в силах сонм теней преодолеть,  
который снегопад перевозносил,  
дает простор для неизвестных сил.

Итак, все было пусто и темно,  
еще немного я глядел в окно,  
во мраке куст переставал дрожать,  
трамваи продолжали дребезжать,  
вдали — слегка подрагивал настил.  
Я штору потихоньку опустил.

Чуть шелохнулись белые листки.  
Мать штопала багровые носки.  
отец чинил свой фотоаппарат.  
Листал журналы на кровати брат,  
а кот на калорифере урчал.  
Я галстуки безмолвно изучал.

Царили тишина и полумгла,  
ныряла в шерсть блестящая игла,  
над ней очки блестели в полумгле,  
блестели объективы на столе,  
во мраке кот с урчанием дышал,  
у зеркала я галстуком шуршал.

Отец чинил свой фотоаппарат,  
среди журналов улыбался брат, —  
рождественский рассказ о чудесах;  
поблескивал за стеклами в часах,  
раскачиваясь, бронзовый овал.  
У зеркала я галстук надевал.

Мать штопала багровые носки,  
блестели календарные листки,  
горела лампа в розовом углу,  
пятно ее лежало на полу,  
из-под стола кошачий взгляд блестел.  
У зеркала мой галстук шелестел.

Царила тишина, и кот урчал,  
я, в зеркало уставившись, молчал,  
дул ветер, завывающий трубой.  
И в зеркало внимательно собой,

скользя глазами вверх и вниз,  
я молча любовался, как Нарцисс.

Я освещен был только со спины,  
черты лица мне были не видны,  
белела освещенная рука.  
От башмаков и до воротника  
глаза движенья стали учащать,  
пора мне это было прекращать.

Я задержался в зеркале еще:  
блестело освещенное плечо,  
я шелковой рубашкой шелестел,  
ботинок мой начищенный блестел,  
в тени оставшись, чуть мерцал другой,  
прекрасен был мой галстук дорогой.

Царили тишина и полумгла.  
В каком-то мире двигалась игла,  
Бог знает что в журнале брат читал,  
отец Бог весть где мыслями витал,  
зажав отвертки в розовой руке.  
У зеркала стоял я в далеке.

Я думаю, что в зеркале моем  
когда-нибудь окажемся втроем  
во тьме, среди гнетущей тишины,  
откуда-то едва освещены,  
я сам и отраженье и тоска —  
единственная здесь без двойника.

Бежала стрелка через циферблат,  
среди журналов улыбался брат,  
издалека к ботинку моему  
струился свет, переходя во тьму,  
лицо отца маячило в тени,  
темнели фотографии родни.

Я, штору отстранив, взглянул в окно:  
кружился снег, но не было темно,  
кружился над сугробами фонарь,  
нетронутый маячил календарь,

маячил вдалеке безглавый Спас,  
часы внизу показывали час.

Горела лампа в розовом углу,  
и стулья отступали в полумглу,  
передо мною мой двойник темнел,  
он одевался, голову склоня.  
Я поднял взгляд и вдруг остолбенел:  
все четверо смотрели на меня.

Отец чинил свой фотоаппарат,  
мерцал во тьме неясно циферблат,  
брат, лежа на спине, смотрел во мглу,  
журнал его валялся на полу,  
за окнами творилась кутерьма,  
дрожала в абажуре бахрома.

Царили полумрак и тишина,  
была на расстоянии слышна  
сквозь шерсть носка бегущая игла,  
шуршанье доносилось из угла,  
мне надоело об одном твердить,  
пора мне было в гости уходить.

Я задержался на календаре,  
итак, я оказался в январе,  
за шторами безмолвствовал фонарь,  
молчал передо мною календарь.  
Боясь, что год окажется тяжел,  
я к выходу из комнаты пошел.

Внезапно что-то стало нарастать,  
брат с раскладушки попытался встать,  
мать быстро поднялась из-за стола,  
и вверх взвилась, упав из рук, игла,  
отец схватил свой фотоаппарат,  
из-под стола сверкнул кошачий взгляд.

И раздалось скрипение часов,  
и лязгнул за спиной моей засов,  
я быстро обернулся и застыл:  
все в комнате, кому же запирать?

Отец бесшумно шторы опустил,  
НЕЛЬЗЯ ТЕПЕРЬ ЗАСОВАМ ДОВЕРЯТЬ.

Я пятился, и пятилось окно.  
Кот прыгнул в освещенное пятно.  
Под потолком, где скапливалась мгла,  
сверкала ослепленная игла.  
От ужаса я чуть не закричал,  
среди журналов мой отец торчал.

Появится ли кто-нибудь меж нас!  
Протянется ли что-нибудь из глаз,  
похожее на дерево в пыли.  
Уста мои разжаться не могли,  
в обоях на стене явился мел,  
от ужаса я весь окостенел.

Деревья в нашей комнате росли!  
ветвями доставая до земли  
и также доставая потолка,  
вытряхивая пыль из уголка,  
но корни их в глазах у нас вились,  
вершины в центре комнаты сплелись.

Я вглядывался в комнату трезвей,  
все было лишь шуршание ветвей,  
ни хвоя, ни листва их не видна,  
зима для них была соблюдена,  
но ель среди них, по-моему, была,  
венчала их блестящая игла.

Два дерева у матери из глаз,  
по столько же у каждого из нас,  
но все они различной высоты,  
вершины одинаково пусты,  
одно иглу имело на конце.  
У каждого два дерева в лице.

Все кончилось впотьмах, как началось,  
все кончилось, бесшумно улеглось,  
и снова воцарилась полумгла,  
мелькнула между стульями игла,

я замер в полумраке у окна,  
и снова воцарилась тишина.

Игла еще лежала на полу,  
брат вздрагивал с журналами в углу,  
еще не прояснился циферблат,  
отец уже чинил свой аппарат,  
засов обратно прыгнул в тишине,  
и штора развевалась на окне.

Все кончилось, все быстро улеглось,  
вновь каждому занятие нашлось.  
Кот сумрачно под лампою лежал,  
и свет его прекрасно окружал.  
Я штору все пытался разглядеть,  
раздумывал: кто мог ее задеть.

Мать молча что-то с пола подняла,  
в руках ее опять была игла.  
Ладонями провел я по вискам,  
игла уже ныряла по носкам,  
над ней очки мерцали в полумгле,  
блестели объективы на столе.

Дул ветер, и сгущалась темнота,  
за окнами гудела пустота,  
я вынул из-за форточки вино,  
снег бился в ослепленное окно  
и издавал какой-то легкий звон,  
вдруг зазвонил в прихожей телефон.

И тотчас же, расталкивая тьму,  
я бросился стремительно к нему,  
забыв, что я кого-то отпустил,  
забыв, что кто-то в комнате гостил,  
что кто-то за спиной моей вздыхал.  
Я трубку снял и тут же услышал:

— Не будет больше праздников для вас  
не будет собутыльников и ваз

не будет вам на родине жилья  
не будет поцелуев и белья

не будет именинных пирогов  
не будет вам житья от дураков

не будет вам поллюции во сны  
не будет вам ни лета ни весны

не будет вам ни хлеба ни питья  
не будет вам на родине житья

не будет вам ладони на виски  
не будет очищающей тоски

не будет больше дерева из глаз  
не будет одиночества для вас

не будет вам страдания и зла  
не будет сострадания тепла

не будет вам ни счастья ни беды  
не будет вам ни хлеба ни воды

не будет вам рыдания и слез  
не будет вам ни памяти ни грез

не будет вам надежного письма  
не будет больше прежнего ума.

Со временем утонете во тьме.  
Ослепнете. Умрете вы в тюрьме.

Былое оборотится спиной,  
подернется реальность пеленой. —

Я трубку опустил на телефон,  
но говорил, разъединенный, он.

Я галстук завязал и вышел вон.



## Глава вторая

В Сочельник я был зван на пироги.

За окнами описывал круги  
сырой ежевечерний снегопад,  
рекламы загорались невпопад,  
трамваи дребезжали вдалеке,  
сворачивали мальчики к реке,  
подкатывали вороны к сыскной,  
карнизы поражали белизной,  
витрины будоражили умы,  
волнение по правилам зимы  
охватывало город в полутьме,  
царило возбуждение в уме,  
и лампочки ныряли у ворот  
в закрытый снегопадом небосвод.

Фургоны отъезжали в темноту,  
трамваи дребезжали на мосту,  
царило возбужденье и тоска,  
шуршала незамерзшая река,  
раскачивался лист календаря,  
качалось отраженье фонаря,  
метались в полумраке на стене  
окно и снегопад наедине.  
Качался над сугробами забор,  
раскачивался в сумраке собор,  
внутри его подрагивал придел,  
раскачивался колокол, гудел,  
подрагивали стрелки на часах,  
раскачивался Бог на небесах.

Раскачивалась штора у плеча,  
за окнами двуглавая свеча  
раскачивалась с чувством торжества,  
раскачивался сумрак Рождества,  
кто знает, как раскачивать тоску,  
чтоб от прикосновения к виску  
раскачивалась штора на окне,  
раскачивались тени на стене,  
чтоб выхваченный лампочками куст

раскачивался маятником чувств  
(смятение — унижение — и месть)  
с той разницей, чтоб времени не счесть,  
с той разницей, чтоб времени не ждать,  
с той разницей, чтоб чувств не передать.

Чтоб чувства передать через него,  
не следовало в ночь под Рождество  
вторгаться в наступающую мглу  
двуглавыми свечами на углу,  
бояться поножовщины и драк,  
искусственно расталкивая мрак,  
не следовало требовать огня.  
Вчерашние — для завтрашнего дня.  
Все чувства будут до смерти нужны,  
все чувства будут вдруг обнажены  
в предчувствии убийственных вестей,  
как будто в поножовщине страстей  
за вами кто-то гонится вослед.  
Напрасно вы не выключили свет!

Сомнамбулою уличных огней,  
пристанищем, ристалищем теней,  
обителью, где царствует сквозняк,  
качался офицерский особняк,  
так, если кто-то гонится вослед,  
неузнанными в блеске эполет,  
затерянными в бездне анфилад,  
зажавшими в ладонях шоколад,  
обнявшими барочные сосцы,  
окажутся пехотные юнцы,  
останется непролитой их кровь,  
останутся их дамы и любовь,  
их яблоки, упавшие из ваз, —  
предел недосыгаемости ваш.

Кто вздрагивал под вывескою «вход»?  
Кто вздрагивал в предчувствии невзгод,  
предчувствуя безмерную беду,  
кто вздрагивал единожды в году,  
кто на душу не принял бы греха,  
чья светлая душа была глуха,  
кто вовремя уменьшил кругозор,

кто вздрагивал, предчувствуя позор?  
Насмешка, издевательство и срам:  
предел недосыгаемости — храм,  
пример несокрушимости — орех,  
пример недосыгаемости — грех,  
предел невозмутимости — бокал  
среди несокрушимости зеркал.

Кто выживет в прогулках у Невы,  
беспечнее, прекраснее, чем вы,  
прелестнее, прекраснее одет,  
кто вам не оборотится во след  
с прекрасною улыбкой, никогда  
в чьем сердце не оставите следа,  
в чьем взоре промелькнет голубизна,  
в чьем взоре распластается Нева,  
чье черное пальто и синева  
останутся когда-нибудь без нас,  
в потемках и в присутствии огней,  
не чувствуя присутствия теней?  
Не чувствуя ни времени, ни дат,  
всеобщим Solitude и Soledad,  
прекрасною рукой и головой  
нащупывая корень мировой,  
нащупывать в снегу и на часах,  
прекрасной головою в небесах,  
устами и коленями — везде  
нащупывать безмерные О, Д —  
в безмерной Одинокости Души,  
в ДОму своем и далее — в глуши  
нащупывать на рОдине весь гОД?  
В неверии — о госпОДи, mein Gott,  
выискивать не АД уже, но ДА —  
нащупывать свой выхОД в никогДА.

Безмолвно наслаждаясь из угла,  
все детство наблюдая зеркала,  
предел невозмутимости их — пруд,  
безмерно обожая изумруд,  
ухмылки изумрудные гостей —  
достигнувшими возраста страстей,  
почувствуем ли спрятанный в них клАД,  
присущий только подлинности хлАД,

вокруг него и около кружа,  
доподлинным обличьем дорожа,  
доподлинно почувствуешь ли в них,  
себя уже стократ переменяв,  
портьеру или штору теребя,  
почувствуешь ли в зеркале себя?

Укрыться за торшерами в углу,  
укрыться офицером на балу,  
смотреть в апоплексический портрет,  
какое наслаждение и бред,  
на дюреровской лошади верхом  
во тьму на искушение грехом,  
сжимая поредевшие виски,  
въезжая в Апокалипсис тоски,  
оглядываться сызнова назад —  
внезапно нарастающий азарт  
при виде наступающих теней,  
и грохот огнедышащих коней,  
и алый меч в разверстых небесах  
качается, как маятник в часах.

Я вижу свою душу в зеркала,  
душа моя неслыханно мала,  
не более бумажного листа, —  
душа моя неслыханно чиста,  
прекрасная душа моя, Господь,  
прелестная не менее, чем плоть,  
чем далее, тем более для грез  
до девочки ты душу превознес, —  
прекрасная, как девочка, душа,  
ты так же велика, как хороша, —  
как девочке присущий оптимизм,  
души моей глухой инфантилизм  
всегда со мной в полуночной тиши.  
За окнами ни плоти, ни души.

За окнами мерцают фонари.  
Душа моя безмолвствует внутри,  
безмолвствует смятение в умах,  
душа моя безмолвствует впотьмах,  
безмолвствует за окнами январь,  
безмолвствует на стенке календарь,  
безмолвствует во мраке снегопад,

неслыханно безмолвствует распад,  
в затылке нарастает перезвон,  
безмолвствует окно и телефон,  
безмолвствует душа моя, и рот  
немотствует, безмолвствует народ,  
неслыханно безмолвствует зима,  
от жизни и от смерти без ума.

В молчании я слышу голоса.  
Безмолвствуют святые небеса,  
над родиной свисая свысока.  
Юродствует земля без языка.  
Лишь свету от небес благодаря  
мой век от зарожденья фонаря  
до апокалиптических коней  
одна жестикуляция теней,  
белесые запястия и вен  
сиреневый узор, благословен  
создавший эту музыку без нот,  
безногого оракула немот,  
дающего на все один ответ:  
молчание и непрерывный свет.

В безмолвии я слышу голоса.  
Безмолвствуют земля и небеса.  
В безмолвии я слышу легкий гуд,  
и тени чувств по воздуху бегут.  
Вопросы устремленные, как лес,  
в прекрасное молчание небес,  
как греза о заколотых тельцах,  
теснятся в неприкаянных сердцах.  
Едва ли взбудоражишь пустоту  
молитвой, приуроченной к посту,  
прекрасным возвращеньем в отчий дом  
и маркой на конвертике пустом,  
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,  
оделись в серебро авиапочт.

Как будто это ложь, а это труд,  
как будто это жизнь, а это блуд,  
как будто это грязь, а это кровь,  
не грех — но это странная любовь.  
Не чудо, но мечта о чудесах,  
не праведник, а все ж поторопись

мелькнуть и потеряться в небесах  
открыткой в посполитый парадиз,  
как будто это ниточка и связь,  
как будто, над собою не смеясь,  
твердишь себе: вот Бог, а вот порог,  
как будто это ты, а это Бог,  
как будто век жужжит в его руке,  
а жизнь твоя, как Ио, вдалеке.

Чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,  
укрыли блудных сыновей и дочь  
прекрасную и, адрес изменив,  
чтоб чувства не усиливали миф,  
не следовало в ночь под Рождество  
выскакивать из дома своего,  
бояться поножовщины и драк,  
выскакивать от ужаса во мрак,  
не следовало в панике большой  
спасаться от погони за душой,  
не следовало верить в чудеса,  
вопросам устремляться в небеса,  
не следовало письма вам писать,  
не следовало плоть свою спасать.

Но в ночь под Рождество не повторять  
о том, что можно много потерять,  
что этого нельзя предотвратить,  
чтоб жизнь свою в корову обратить.  
Как будто ты ужален и ослеп,  
за белою коровой вьется вслед  
жужжащая небесная оса,  
безмолвствуют святые небеса,  
напрасно ты, безмолвствуя, бежал  
ужасного, но лучшего из жал,  
напрасно ты не чувствуешь одно:  
страДаний Одинаково ДАно,  
страДанье и забвение — труха,  
страДание не стоило греха.  
Почувствуешь ли в панике большой  
бессмертную погоню за душой,  
погоню, чтобы времени не ждать,  
с той выгодой, чтоб чувства передать  
в мгновение, схватившее виски,

в твой век по мановению тоски,  
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,  
оделись в серебро авиапочт.  
Предчувствуешь все это в снегопад  
в подъезде, петроградский телепат,  
и чувства распростертые смешны,  
шпагатом от войны и до войны,  
он шепчет, огибая Летний сад:  
немыслимый мой польский адресат.

Любовь твоя — воспитанница фей,  
возлюбленный твой — нынешний Орфей,  
и образ твой — фотографа момент,  
твой голос — отдаленный диксиленд.  
Прогулки в ботаническом саду,  
возлюбленного пение в аду,  
возлюбленного пение сквозь сон, —  
два голоса, звучащих в унисон,  
органный замирающий свинец,  
венчальные цветы, всему венец,  
душа твоя прекрасна и тиха,  
душа твоя не ведает греха,  
душа твоя по-прежнему в пути,  
по-прежнему с любовью во плоти.

Ничто твоей души не сокрушит.  
Запомни, что душа твоя грешит!  
Душа твоя неслыханно больна.  
Запомни, что душа твоя одна.  
От свадебного поезда конец  
души твоей неслыханный венец,  
души твоей венчальные цветы,  
блестящие терновые кусты.  
Душа твоя грехи тебе простит,  
душа тебя до девочки взрастит,  
душа твоя смоковницу сожжет,  
душа твоя обнимет и солжет,  
душа твоя тебя превознесет,  
от Страшного Суда душа спасет!

Чье пение за окнами звучит?  
Возлюбленный за окнами кричит.  
Душа его вослед за ним парит.

Душа его обратно водворит.  
Как странно ты впоследствии глядишь.  
Действительно, ты странствуешь весь день,  
душа твоя вослед тебе, как тень,  
по комнате витает, если спишь,  
душа твоя впоследствии какмышь.  
Впоследствии ты сызнова пловец,  
впоследствии «таинственный певец» —  
душа твоя не верит в чепуху, —  
впоследствии ты странник наверху.

Так, девочкой пожертвовать решаешь,  
любовь твоя, души твоей страхась,  
под черными деревьями дрожит,  
совсем тебя впоследствии бежит.  
На улице за окнами рябя,  
там что-то убегает от тебя,  
ты смотришь на заржавленный карниз,  
ты смотришь не на улицу, а вниз,  
ты смотришь из окна любви вослед,  
ты видишь сам себя — автопортрет,  
ты видишь небеса и тени чувств,  
ты видишь диабаз и черный куст,  
ты видишь это дерево и ад,  
в сей графике никто не виноват.

Кто плотью защищен, как решетом,  
за собственной душой как за щитом,  
прекрасной задушевностью дыши  
за выпуклым щитом своей души.  
Вся жизнь твоя, минувшая как сон:  
два голоса, звучавших в унисон,  
деревьев развевающихся шум,  
прекрасными страданиями твой ум  
наполненный, как зернами гранат,  
впоследствии прекрасный аргонавт,  
впоследствии ты царствуешь в умах,  
запомни, что ты царствуешь впотьмах,  
однако же все время на виду,  
запомни, что жена твоя в аду.

Уж лучше без глупца, чем без вруна,  
уж лучше без певца, чем без руна,



уж лучше грешным быть, чем грешным слыть,  
уж легче утонуть, чем дальше плыть.  
Но участи пловца или певца  
уж лучше — положиться на гребца.  
Твой взор блуждает сумрачен и дик,  
доносится до слуха Эвридик  
возлюбленного пение сквозь ад,  
вокруг него безмолвие и смрад,  
вокруг него одни его уста,  
вокруг него во мраке пустота,  
во мраке с черным деревом в глазу  
возлюбленного пение внизу.

Какая наступает тишина  
в прекрасном обрамлении окна,  
когда впотьмах, недвижимый весь век,  
как маятник, качнется человек,  
и в тот же час, снаружи и внутри,  
возникнет свет, внезапный для зари,  
и ровный звон над копьями оград,  
как будто это новый циферблат  
вторгается, как будто не спеша  
над плотью воцаряется душа,  
и алый свет, явившийся извне,  
внезапно воцаряется в окне,  
внезапно растворяется окно,  
как будто оживает полотно.

Так шествовал Орфей и пел Христос.  
Так странно вам кощунствовать пришлось,  
впоследствии нимало не стыдась.  
Прекрасная раскачивалась связь,  
раскачивалась, истово гремя,  
цепочка между этими двумя.  
Так шествовал Христос и пел Орфей,  
любовь твоя, воспитанница фей,  
от ужаса крича, бежала в степь,  
впотьмах над ней раскачивалась цепь,  
как будто циферблат и телефон,  
впотьмах над ней раскачивался звон,  
раскачивался бронзовый овал,  
раскачивался смертный идеал.  
Раскачивался маятник в холмах,

раскачиваясь в полдень и впотьмах,  
раскачивался девочкой в окне,  
раскачивался мальчиком во сне,  
раскачивался чувством и кустом,  
раскачивался в городе пустом,  
раскачивался деревом в глазу,  
раскачивался здесь и там, внизу,  
раскачивался с девочкой в руках,  
раскачивался крик в обиняках,  
раскачивался тенью на стене,  
раскачивался в чреве и вовне,  
раскачивался, вечером бледнел,  
при этом оглушительно звенел.

Ты, маятник, душа твоя чиста,  
ты маятник от яслей до креста,  
как маятник, как маятник другой,  
как маятник рука твоя с деньгой,  
ты маятник, отсчитывая пядь  
от Лазаря к смоковнице и вспять,  
как маятник от злости и любви,  
ты движешься как маятник в крови.  
Ты маятник, страданья нипочем,  
ты маятник во мраке ни при чем,  
ты маятник и маятнику брат,  
твоя душа прекрасный циферблат,  
как маятник, чтоб ты не забывал,  
лицо твое, как маятник, овал.

Как маятник, то умник, то дурак,  
ты маятник от света и во мрак  
за окнами, как маятник, рябя, —  
зачатие, как маятник, тебя.  
Ты маятник, как маятник я сам,  
ты маятник по дням и по часам,  
как маятник, прости меня, Господь,  
как маятник душа твоя и плоть,  
ты маятник по каждой голове,  
ты маятник — от девочки в траве,  
ты маятник внизу и наверху,  
ты маятник страданью и греху,  
ты маятник от уличных теней  
до апокалиптических коней.

## КРИК:

Я маятник. Не трогайте меня.  
Я маятник для завтрашнего дня.  
За будущие страсти не дрожу,  
я сам себя о них предупрежу.  
Самих себя увидеть в нищете,  
самих себя увидеть на щите,  
заметить в завсегдатаях больниц  
божественная участь единиц.

Признание, награда и венец,  
способность предугадывать конец,  
достоинство, дарующее власть,  
способность, возвышающая страсть,  
способность возвышаться невпопад,  
как маятник — прекрасный телепат.

Способные висеть на волоске,  
способные к обману и тоске,  
способные к сношению везде,  
способные к опале и звезде,  
способные к смещению в крови,  
способные к заразе и любви,  
напрасно вы не выключили свет,  
напрасно вы оставили свой след,  
знакомцы ваших тайн не берегут,  
за вами ваши чувства побегут.  
Что будет поразительней для глаз,  
чем чувства, настигающие нас  
с намереньем до горла нам достать?  
**СОВЕТУЮ ВАМ МАЯТНИКОМ СТАТЬ.**

*апрель 1962*